

VIII

Первое, что увидел Рогов, распахнув дверь в заводское общежитие,— строгое лицо восседающей за столом объемистой старухи в платке и пальто. Ни нелепость столь теплого наряда в августе, ни то, что старомодная одежда заношена до ветхости, не мешало вахтерше выглядеть просто-таки царственно: надменно и на всякий случай сурово. Казалось, что посетителя встречает не живой человек, а портрет, гравюра, по гордой осанке и выражению лица годная для украшения денежных купюр Екатерининской эпохи. Собственно, это и было не лицо. Это была вывеска учреждения.

Пожилая женщина выглядела настолько величественно, что Рогов даже оробел, подходя к ее скрипучему трону. Он опасался, что присущий ему панибратский демократизм нарушит установившийся здесь придворный этикет. Возможно, приближаться к матроне надлежало, отвешивая определенное количество поклонов; может быть, следовало бы нести перед собой на вытянутых руках приличествующие ее статусу дары; у Рогова же в запасе имелись лишь слова приветия от их общей знакомой, феи чистоты из храма просвещения для юношества, желающего постичь премудрости ремесленного искусства. Впрочем, услышав этот пароль, привратница милостиво кивнула, хотя и не проронила ни слова...

Где лежат истоки величавости вахтерш, швейцаров, дворников, милиционеров — науке пока не известно. Вполне объяснимо, отчего среди них встречаются суетливые, нервные, хитроватые людишки. А вот на чем зиждется осознание ими своей значительности?.. Может быть, это осознание приходит к тем, кто серьезно относится к профессии? Может быть, существуют субъекты, способные перед началом дежурства, перед тем, как заступить на пост, перед тем, как открыть дверь караульного по-

мещения, произнести про себя: «Итак, приступаю к исполнению должностных обязанностей» и отрешиться от всего постороннего? Может быть, произнося подобное заклинание, с головой погружаясь в служебные дела, некоторые научились отделять в себе профессионала от обывателя? Вдруг они, как ни нелепо, как ни смешно это прозвучит для разгильдяев, составляющих большинство нашего населения, на самом деле, высоко понимают свой долг?.. Или профессиональные охранители преисполнены важности потому, что окружающие часто доверяют им свои маленькие бытовые тайны?.. Или в глубине души эти люди стесняются выбранной стези, стыдятся опостылевшей должности, а маска надменности защищает их ранимые души от нашей бесцеремонности?..

Так или иначе, но если бы кто видел, как царственно кивнула баба Дуся в ответ на слова Рогова, не усомнился бы, что в жилах ее течет аристократическая кровь. И словно лакею, присланному к ней от другой аристократки (малость шизанутой уборщицы из ПТУ), мановением руки приказала она пришельцу замолчать, когда на столе ее зазвонил телефон... Лишь завершив разговор и положив трубку на рычажки, Дуся вновь воззрилась на Рогова, опять молча, только глазами повелевая ему продолжать.

Когда же стало понятно, кого разыскивает посетитель, Дуська удивилась и даже несколько обеспокоилась. Впрочем, догадаться об этом смог бы лишь очень внимательный наблюдатель, заметив, как сторожиха заерзала на своем троне... Нет, не то чтобы заерзала, а два-три раза совершила колебательные движения внушительным тазом, что несколько нарушало старательно, годами выстраивавшуюся монументальность скульптурной композиции под названием «Баба Дуся на посту». Легкое волнение вахтерши было вызвано тем, что вот уже второй день Володиной настойчиво интересовались самые разные люди, а некоторые прямо сейчас находились в ее комнате. Непонятная, подозрительная суета вокруг Машки дезориентировала, и Дуся теряла уверенность в том, что заняла правильную позицию по отношению к разгульной девке. Похоже, столь ярко и зримо начертанные в мечтах планы мстительного торжества рассыпались в прах ввиду каких-то загадочных обстоятельств. Однако, не желая показать постороннему свое замешательство, дежурная еще строже поджала губки и смерила гостя недоверчивым взглядом.

Рогов с каждой минутой все более смущался. Теперь ему казалось, что вахтерша подозревает его в чем-то нехорошем, возможно, в тайном сожительстве с Марией... как ее? Васиной? Васильевой? Володиной! От волнения он не сразу вспомнил фамилию женщины, которой пришел сделать предложение о замужестве. Напряжение немного спало, когда старуха, до этой минуты проявлявшая себя лишь мимикой, жестами и телодвижениями, наконец, перешла к вербальному общению с посетителем:

— Володину-то? Машку-то? Знаю я ее, как же,— и баба Дуся назвала номер Володинской комнаты и этаж.

— Ну, так я пройду... На минуточку,— пробормотал Рогов, бочком обходя стол дежурной.

Он старался как можно скорее, насколько только позволяли его короткие ножки, прошмыгнуть внутрь, и главный вопрос Дусинеи застал его уже пред лестницей:

— А вы по какому вопросу?

— По личному! — сдавленно выкрикнул Рогов и юркнул в сумрак ступенчатых пролетов.

Поднявшись на четвертый этаж, он нашел нужную дверь, постучал и, не дожидаясь ответа, шагнул через порог.

Сразу за порогом Рогов неожиданно запутался в каких-то ситцевых полотнищах, едва не ударился об огромный шкаф, повернутый к посетителю дэвэпэшной рубчато-сетчатой неприветливой своей стороной — так жильцы отгородили крошечную часть помещения, где можно было оставлять «уличную» обувь и хранить скарб, коему в

комнате не место, но и за дверями держать жалко, ибо сопрут. То, что с первого шага не довелось ни с кем столкнуться, помогло Рогову справиться с волнением и сделать следующий шаг. В комнате же, по сравнению с наперсточной «прихожей» показавшейся просторной, он увидел суженую-ряженую. Точнее — ее силуэт, поскольку Мария сидела спиной к окну, а бившее с улицы августовское солнце не давало рассмотреть лицо женщины. Однако даже расплывающееся в заслезившихся вдруг глазах очертание на фоне белесого прямоугольника дневного света показалось Рогову выразительным: напряженно прямая спина чуть откинута, плечи развернуты, руки картинно перекрещиваются на заметном животе, словно защищая ребенка в утробе.

Но что удивительно, кроме хозяйки, в комнате находилось трое мужчин. Смурной какой-то мужик полулежал на застеленной кровати, привалившись спиной к стене; у стола присели двое: хмурый татарин и довольно красивый юноша. Все собравшиеся мрачно молчали, разглядывая вошедшего.

Рогов, обнаружив здесь целое сходбище странных субъектов, опешил. Он собирался с ходу, прямо с порога откровенно объясниться с женщиной, раскрыть свой план, а там пусть она решает. Теперь же не в состоянии был выдать из себя ни слова, даже «здравствуйте», понимая, что в присутствии посторонних рассказывать о грандиозных, но могущих со стороны показаться бредовыми и вообще-то секретных замыслах ни к чему. Подозрительно косясь по сторонам, он торопливо пересек комнату наискосок и присел на краешек свободной койки у противоположной стены.

Теперь Рогов получил возможность как следует рассмотреть женщину, ради которой вляпался в такую глупую историю. Интерес, возможно, праздный, ну а вдруг все-таки с ней жить придется? Не хотелось бы рядом с собой всю жизнь видеть какого-нибудь крокодила...

Осмотром Рогов в целом остался доволен. Внешность Марии он оценил как приятную: светлые волосы, серо-голубые глаза, мягкие очертания лица... Пожалуй, нос чуть толстоват, но это уж если придирается. А так-то на роль соратницы, обеспечивающей надежный тыл, вполне годится — отметил Рогов с чувством глубокого удовлетворения. Женщина тоже внимательно рассматривала гостя, и взгляд ее еще больше обнадежил залетного жениха. Спокойный взгляд, но не отрешенный. Взгляд оценивающий, но не мелочно-придиричивый. Взгляд человека, умеющего прощать, но не собирающегося безоглядно верить твоему первому слову. Или, может быть, это был взгляд человека, перенесшего сильный шок и уже не реагирующего на новые раздражители?

Желание немедленно найти ответ настолько захватило Рогова, что он погрузился в отвлеченные размышления о тайне женского зора вообще, о загадочно меняющемся цвете глаз данной конкретной женщины, и даже забыл, где находится в настоящий момент, в какой неоднозначной ситуации оказался. Очнулся же Рогов от болезненного ощущения: его буравили еще три пары глаз. Рогов почувствовал себя пловцом, секунду назад безмятежно плескавшимся в голубой водице нежных женских очей, в которых всплывали то летняя зеленоватая бархатистая тина, а то холодные серые льдинки весеннего половодья, и внезапно стукнувшимся о жесткий берег мужского взгляда. Рогов вынырнул на поверхность реальности, встревоженно огляделся и понял, что все присутствующие безмолвно требуют, чтобы он, наконец, объяснил цель своего появления.

Но ведь это решительно невозможно! Легче выброситься в окно, так кстати запахнутое хозяйкой, чем выставить на всеобщее обозрение свою заветную мечту, чем объяснить чужим, случайным людям, зачем Рогову нужна Мария, как он станет воспитывать ее ребенка, какой цели послужит их семья, если она возникнет. Рогов никак не мог заставить себя заговорить, понимая: все, что он скажет сейчас, окажется неточным, приблизительным, грубым, ни в коей мере не отразит красоты и величия его

трепетных сокровенных устремлений, будет выглядеть глупо.

Тяжелое молчание меж тем стало просто невыносимым, словно его специально нагнетали в комнату неким насосом. Казалось, еще секунда угнетающего безмолвия — и произойдет что-то страшное, непоправимое. Тогда Рогов решил начать разговор с темы, никак не связанной с сутью его замыслов; правда, подобрать таковую в незнакомой, к тому же явно не расположенной к общению компании оказалось не просто, да, собственно, и не удалось. Мысль Рогова билась конвульсивно, с надрывом, о чем все присутствующие могли догадаться по его сосредоточенному сопению да по невятному визгливому бормотанию панцирной сетки кровати, на которой разместился гость. Наконец, несколько раз нервически откашлявшись, Рогов выдал самое, наверно, неподходящее в данной ситуации:

— Слыхали? Горбачев в отпуск улетел... Тут в стране такое творится, а он отдыхает!

Найденный зачин для общего разговора Рогову казался идеальным. За последнее время политик-самоучка привык к тому, что стоит лишь напомнить согражданам о происходящем в стране, как в ответ раздается целый хор возбужденных голосов, привычно транслирующих в пространство сумятицу мнений. Да и желающих поворчать на охочих до отпусков руководителей всегда много... Однако на этот раз ничего подобного не последовало; в помещении упорно продолжало уплотняться нудное молчание, нарушить которое Рогов почему-то считал своей обязанностью.

Тогда он, дуря от собственной развязности, вторично пересек по диагонали комнату и, приблизившись к противоположной стене, где углядел висевший репродуктор, решительно крутанул на аппарате ручку громкости. Что толку! Вместо ожидаемой бодрой музыки или выпуска новостей, прослушивание которых могло бы придать подобие осмысленности творившемуся вокруг абсурду, в комнату хлынуло бессодержательное шипение эфирного прибора. Загадочные, даже пугающие шумы крайне раздражали и без того воспаленные нервы. Казалось, это не они пятеро вслушивались в завывание вьюги радиопомех, а кто-то, стремящийся все знать и все контролировать (баба Дуся?), притаившись за стеной, подслушивал их самих при помощи шумящей, подобно морской раковине, пластмассовой коробочки. Рогов поспешно выключил приемник и метнулся на прежнее место. Панцирная сетка под ним сварливо закричала.

— Твою мать... — членораздельно и раздумчиво произнес мужик на соседней кровати, ни к кому конкретно не обращаясь.

Рогов силился уразуметь, кто тут собрался и для чего, не догадываясь, что самая разнузданная фантазия не помогла бы восстановить логическую цепь событий, приведших сюда всех этих людей. Очевидно одно: сам он оказался здесь в неподходящее время. Разумнее всего было бы убраться подобру-поздорову, да только разум пасовал перед всеподчиняющей инерцией бездействия. Подняться еще раз с продавленной лежанки, вновь привлечь к себе всеобщее внимание?! Ни за что на свете! Рогов согласился бы хоть целый год просидеть сиднем на визгливой койке, лишь бы избежать этого; он бы не шевелился, может, и не дышал бы, дабы не выдать своего присутствия в комнате, явно имевшей свойство волшебного преображать всякого, кто здесь появляется. Абсолютной неподвижностью Рогов добьется, чтобы его перестали замечать, как не замечают ежедневно попадающийся на глаза план эвакуации в случае пожара, прикрепленный к двери. А превратившись в невидимку, Рогов тихонько выскользнет из общежитской клетушки, убежит куда-нибудь далеко-далеко в надежде поскорее забыть все произошедшее, как забывают мучительное сновидение, не поддающееся толкованию.

Пока же приходилось изнывать от тоски в ловушке, в которую он по какому-то недоразумению сам себя загнал, да еще поплотнее захлопнул. Странность поведения

сошедшихся здесь персонажей, явно враждебной настрой мужчин по отношению друг к другу, полное непонимание их целей, невозможность предугадать их дальнейшие поступки,— все это (не говоря уже про испытующий взгляд единственной необходимой Рогову женщины) лишало инициативы, сковывало волю.

Минуту назад Рогов попытался свергнуть власть безмолвия, опутавшего людей нерушимыми чарами, но после провала позориться еще раз не собирался. А уж излагать этим сердитым молчунам заповедные замыслы, заводить с ними разговор о возможной женитьбе, о воспитании наследника своих идей — убежденного коммуниста, человека будущего... Только представив такие откровения в незнакомой компании, Рогов содрогнулся от отвращения.

Он с удивлением обнаружил в себе, стороннике революционной простоты во всем, старорежимную стыдливость и интеллигентскую нерешительность. Для стойкого большевика слабость непростительная! Следовало собрать волю в кулак, повесть откровенный разговор и прямо спросить: пойдет за него Мария замуж или не пойдет? может он рассчитывать на то, чтобы использовать ее ребенка в своих целях или не может? Тут стесняться нечего! Рогову не до церемоний, он не в игрушки играет. У него (единственного в этой комнате!) серьезнейшая, ответственнейшая, можно сказать, всемирного масштаба задача. Он, если угодно, исходит из производственной необходимости: поскольку спасти родину и революцию предстоит именно ему, он не имеет права медлить, не имеет права упускать свой, может быть, последний шанс!

Рогов и не собирался отступать, пока не добьется от Марии четкого ответа (кстати, не обязательно утвердительного: отрицательный результат — тоже результат; коль скоро теперешняя его задумка провалится, надо будет измыслить другой план действий). Зная свой характер, Рогов справедливо полагал, что умучает себя самоедством, дойдет до грани сумасшествия, ежели оперативно и достоверно не выяснит, останавливать ли свой выбор на Володиной, либо приступить к поиску другой сподвижницы. А если сегодня решительного объяснения не произойдет, придется приходиться в общежитие снова, снова объясняться со старухой-вахтершей, снова тащиться на четвертый этаж, стучаться в двери странной комнаты... Зачем ему повторно тратить драгоценное время на малоприятные и неэффективные действия?! Желательно было бы нынче же все выяснить.

Это Рогов прекрасно понимал, но, как ни распался доводами здравомыслия свою решимость, по-прежнему не в состоянии был вымолвить ни слова, точно заколдованный. Он ощутил себя доисторической мошкой, влипшей в густеющий янтарь молчания: теперь бесполезно дергаться, жужжать — замри занятным экспонатом для будущих исследователей...

Впрочем, не одного только Рогова разыгрывавшаяся здесь фантазмагория ввергала в тоску, доходившую до апатии. Оказавшись в окружении сосредоточенных на собственных потаенных мыслях и интимных переживаниях незнакомцев, каждый почувствует себя опереточным героем, нечаянно подслушавшим чьи-то откровения, не имея возможности ни оградить слух от пошловато-скучных секретов, ни ретироваться, ни выставить из помещения посторонних. Все мужчины, расположившиеся в комнате, испытывали неловкость, оттого что приходилось осваивать амплу простака из дурного фарса, но никто не ощущал себя вправе крикнуть: «Занавес! Скорее занавес!»

Наконец, сидевший у стола крепыш в сером костюме (пожалуй, самый хмурый из присутствующих здесь субъектов) решил прекратить затянувшийся спектакль. Подводя итог перепалке, которая, как можно было догадаться, бушевала в общежитии до появления Рогова, и подавая своей репликой сигнал всем разойтись, он проговорил с каким-то туманным подтекстом, как это привыкли делать ответственные то-

варищи:

— Ну, хорошо. Я пойду; вы обдумайте мое предложение и потом свяжитесь со мной.

Угрюмый ответработник уже начал было подниматься со стула, но тот, кто был постарше остальных, остановил его:

— Ладно, ладно, обдумаем. А вот только скажи мне: если у нее не пацан родится, а девка, ты ее все одно примешь?

— Я приму,— быстро заговорил бледный юноша, нервно заерзав на своем месте.— Я приму. Мне это абсолютно безразлично.

— Да ты-то, конечно... Ты приемщик великий, сразу видать. Правда, самому еще титьку сосать впору. А так ты всех примешь, зятек,— резко и язвительно откликнулся мужик в годах. Получилось у него хлестко, и он оглядел присутствующих с видом хозяина положения, явно довольный тем, как ловко ведет переговоры с молодежью.

Рогов постепенно начинал разбираться в ситуации: краснобай с деревенскими замашками, скорее всего, отец молодой женщины. Тогда двое других... Двое других, получается,— прямые соперники Рогова, претенденты на роль мужа... Как все странно складывается! Неужели они втроем случайно сошлись здесь в один день, в один час с одной и той же целью?..

Такое невероятное совпадение должно было бы обеспокоить Рогова: следовало поторопиться, недвусмысленно обозначить цель своего прихода, куда более расторопные конкуренты не увели из-под самого носа и женщину, и будущего наследника. Однако странная апатия не отпускала. Рогов по-прежнему не мог решиться на объяснение, да, впрочем, никто его об этом и не просил. Непостижимым образом люди в комнатке чувствовали себя связанными явственно ощутимыми, но слабенькими и прерывистыми флюидами. Казалось, что собрались здесь давние знакомцы, часто делившие на всех и радости, и горести, научившиеся понимать друг друга без слов; а вместе с тем каждый был словно наедине с собой, и остальные представлялись ему не настоящими людьми, а какими-то голограммами, выставленными в прозрачных витринах. Каждый сейчас будто бы блуждал в стеклянном лабиринте, где чуть мутные на просвет перегородки разделяют ищущих выход; можно видеть силуэт соседа, его лицо, но подойти вплотную нельзя, и даже голоса звучат приглушенно, неотчетливо.

Вот так отрешенно, не участвуя в происходящем, а наблюдая за всем со стороны, Рогов воспринял приход еще одного посетителя. Тот вошел, убирая в карман бумажник, бурча себе под нос о какой-то вредной старухе. Едва переступив порог коммунальных апартаментов, пришелец замер на месте. Уплотнившееся до упругости молчание не пустило его дальше. Подозрительно оглядев всех собравшихся, неожиданный гость остановил взгляд на Марии, представился: «Чернышев». Никто в ответ не назвал себя, и Рогов не назвал, потому что здесь они были не Чернышевыми, не Роговыми, не Володиными, а безмянными сгустками боли, комками разочарований, клубками неудач, шматками безнадежности, пластами грусти — переживаниями в чистом виде, без половых, возрастных, национальных, общественно-политических примесей. И Чернышев как-то сразу понял это, и захотел в этом участвовать, и, секунду помедлив, добровольно ступил в лабиринт, возведенный вязким, тягучим, как расплавленное стекло, молчанием. Не попытавшись ни к кому приблизиться или подать руку (все равно бесполезно: прозрачные перегородки помешают), Чернышев прошел в незанятую пока стеклянную клетушку (напротив входной двери, у раскрытого окна), навалился толстой попой на подоконник и скрестил на груди руки.

Приняв позу надменного зрителя, Чернышев оглядывал присутствующих с любопытством экскурсанта, случайно оказавшегося в каком-нибудь зооуголке. Во взгляде его сквозили то снисходительная ирония по отношению к выставленным на

обзор почтенной публики экзотическим существам, то озорство сорванца, готовящегося поверх жестяной таблички с трафаретной надписью «Животных не кормить!» перебросить в вольер булку. Сквозь грани хрустального лабиринта безмолвия, которые до карикатурности увеличивали иные изображения, Рогов отчетливо видел, что новый персонаж, хотя и включился в их общую игру, хотя и моментально догадался о бесполезности слов, хотя и старался доказать, что выстрадал, как все присутствующие, право на свой кусок тишины, демонстрирует показное, притворное смирение, ибо печаль его мимолетна.

Видя, как Чернышев безуспешно пытается решить уравнение с несколькими неизвестными-немтырями, понимая, что четверть часа назад сам выглядел таким же растерянным тугодумом, Рогов с удовольствием вживался в роль старожила диковатого, но, в общем-то, уютного мирка, похожего на братство исихастов. Рогов уже пообвыкся среди молчалников, стал находить, что чуть искаженная реальность, в которую он погружен, пожалуй, более ярка, чем привычное для всех формально-логическое существование, детерминированное вербальностью. Впрочем, какой-то черточки, венчающей сюрреализм происходящего, не хватало. И вскоре, воплощая в реальность принципы театра абсурда, на сцене появился еще один статист, довершив фантасмагорию своим выходом.

Ворвавшись в комнату, этот последний посетитель резко захлопнул за собой дверь и немедленно привалился к створке спиной, как будто боялся, что следом вломятся разгневанные преследователи, которые чуть не настигли его у самого входа. Пришелец зачем-то завернулся в простыни; так мог бы выглядеть маскарадный костюм абиссинского негуса, изготовленный школьником младших классов для новогоднего утренника. Но Рогова не удивило немислимое одеяние незнакомца. Абсолютно не удивило. Наоборот, Рогов ждал прихода людей гораздо более экзотической наружности. Наверняка, сегодня их еще немало наберется (Рогов знал это почти наверняка, поскольку, ступив за порог психоделической общаги, — только теперь догадался! — угодил в зазеркалье многократно виденного сна, известного до мельчайших поворотов сюжета). И все те, кто нынче сойдется здесь, будут немного сумасшедшими, но, в общем-то, незлыми.

Подтверждая сюрреалистическое озарение Рогова, вошедший, который только что плотно прижимался затылком к двери, оглядывая собравшихся затравленным взором мученика, несколько раз глубоко вздохнул, тряхнул спутанными локонами и вдруг заговорщицки подмигнул. От хитрованской ужимки на подвижном лице его моментально собралось столько морщинок и складочек, что лица-то будто не стало; незнакомец словно бы с величайшим проворством натянул и снял некую маску. Похоже, засевшим в чужой комнате угрюмым молчунам как раз этого сейчас и не хватало: усмешки, пусть даже плутовской, но жизнерадостной, побуждающей к действию. Поэтому в ответ на гримасу похожего на циркача пришельца мужчины разом заговорили, стараясь убедить окружающих в серьезности и значительности своих намерений.

Рогову показалось, что он очутился в большом и гулком певческом зале. Невнятно, как сквозь вату, слышался нестройный хор разных по тембрам, но унисонных по просительной интонации мужских голосов. Каждый говорил о своем, не слушая других, сам отвечал на заданный им же вопрос; то все одновременно пытались исполнить соло, то поочередно стихали, прислушиваясь к отголоскам прозвучавших партий. Рогову столь неприятны были мучительные поиски гармонии, что он недовольно морщился, склонив голову на грудь и прикрывая глаза рукой. Хотелось пропустить черновой этап спевки и поскорее насладиться слаженной кодой.

Володина тоже раздражал возникший диссонанс. Несколько минут назад он чувствовал себя хозяином положения; давая всем понять, что последнее слово останется

за ним, награждая собравшихся самыми нелеплыми эпитетами, говорил метко, хлестко, словно гвозди загонял в доску с одного удара и по самую шляпку. Теперь же Виктора Алексеевича вроде бы в расчет уже не принимают, зато каждый лезет со своей правдой. Нельзя так!

И дело не только в том, что колхозный бригадир значительно старше всех собравшихся (разве, лишь Шамсутдинов годился ему в младшие братья). Речь не о старшинстве, не об опытности, не об исключительных привилегиях отцовства — много их сейчас слушают, отцов-то. Неоспоримое, непреложное право рассудить неразумных сих досталось Володину от высших доверителей: от весенней пашни, дымящейся торжеством будущего урожая; от тянущихся вдоль полей рощиц, привыкших по осени философствовать листопадом; от летних полдней, плавающих воздух; от зимних закатов, в которые с разгону влетаешь на санях с бубенцами под топотание и храп коня. Вся жизнь Виктора Алексеевича, нудная, бестолковая и тяжелая, как нынешняя поездка в город, но проживаемая же им зачем-то (может, в угоду городским недотепам, наконец-то собравшимся здесь, чтобы взглянуть ему в глаза?), нескладная его жизнь, не прервавшаяся Бог весть почему при самом начале своем, в том страшном первом военном году, который по сей день отрыгается Володину лепехами из мерзлой картошки, тошнотворная, как паточный самогон, жизнь давала ему право один раз сказать любому правду в глаза. В первый раз (и, судя по всему, в последний) мнение Виктора Алексеевича было настолько важно, что могло изменить чью-то судьбу или даже судьбы нескольких человек. Это явственно ощущал он сам, это явственно ощущала молодежь и до поры не смела противоречить крестьянину.

Хотя... что ж корезить из себя вершителя чужих судеб, когда родимая твоя кроvinочка так дурачки устраивает свою собственную! Стыдно-то как: вроде, сватовство идет, а сватов всамделишных нет, жениха (одного, единственного, настоящего!) и того нет, почтения отцу невесты никто не выражает, никто не поднесет рюмочку, а хорошо бы сейчас шарахнуть глоток маслянистой отравы, дабы оттенить горечь грядущей разлуки с дочерью. Да, стопку Виктор Алексеевич сейчас опрокинул бы с удовольствием, а после смачно крякнул бы и лихо махнул рукой на все предстоящие расставания, на пробивающуюся из мутных глубин души подленькую радость освобождения от родительских забот, на впервые подступившее комком к горлу ощущение неотвратимости старения, махнул бы рукой так, что плечо чуть не выскочило бы из сустава, да сказал после того взмаха: «Согласен! На все это согласен!»

Вот ведь с самого начала не задалась эта его поездка в город! А завершается она, прямо сказать, не по-людски! Собрались какие-то посторонние неприятные мужики и делят его дочку, имеют какие-то свои виды на его внука. Обидно до слез! И совсем уж мерзко было представлять, что кто-то из этих охламонов (или даже не один?!) лапал Машку, лез ей под юбку, ну и все такое прочее... Тьфу!

Однако, как ни странно было это сознавать, постепенно из омерзения, обиды и стыда, как бледные ростки озимых из обильно удобренных пластов чернозема, пробивались всходы надежды и умиротворенности. Вроде бы, в том диком балагане, куда судьба занесла Володиных, неоткуда было взяться спокойной уверенности в счастливом исходе, но вопреки логике бесосновательный оптимизм теплой волной разливался в душе Виктора Алексеевича. Будущее дочери уже не представлялось ему трагически одиноким и беспросветно скверным: одна она теперь точно не останется; ведь вот они — женишки; пусть плохонькие и чудные, зато отбоя нет! Значит, Машка сможет выбрать одного из этих тетерь в мужья, оплести его податливыми, но прочными кольцами женских прихотей и вьюнком по пряслине полезть вверх, к радости устроенного и стабильного житья. Если, конечно, дочь его непутевая очнется да всерьез займется устройством своей судьбы, потому что пока Машка сидит скучная, как будто ей и дела нет до страстей, кипящих на ее жилплощади.

«Гляди-ка: застеснялася! — Виктор Алексеевич мысленно комментировал поведение дочери, телепатически пытаясь едким сарказмом вывести из непонятного оцененения эту неудачницу, дороже и роднее которой нет и не будет в мире, заставить Машку на что-то решиться, пока не упущена («Да, да, да, по-ка не у-пу-ще-на!» — чуть аритмично, но в унисон с надеждой стучало родительское сердце) возможность словом или поступком изменить роковую предопределенность постоянных житейских провалов. — Давать кому ни попадя она, гля, не стеснялася, а сейчас сидит, язык в задницу засунула. А надо бы как-то определяться, не сидеть так-то, ватной бабой на чайнике!» Однако, видя, что отравленные стрелы его злой иронии то ли не попадают в цель, то ли отскакивают от брони полуобморочной Машкиной апатии, Володин взял инициативу в свои руки:

— А ну-ка! Притихните, зятьки! Чтой-то разгалделись! Становься в очередь на усыновление! Да... А то, может, вы ждете, что она пятерню принесет? И каждому по ребеночку обломится? Ты, Машка, уж расстарайся. Поясница у тебя, вон, широкая, давай, поднатужься, раз людям так надо, подсоби родине с детьми... А серьезно сказать: горько мне на вас смотреть. Не по-людски выходит, зятьки. У людей-то ведь как? Пришел ты к девке... ну, к бабе, так и так, скажи, мол, люблю тебя, жить с тобой хочу совместно. А у вас все свои выгоды на уме...

— Я! Я ее люблю,— встрепенулся снова самый молоденький.

— Да ты ж ее знать не знаешь! — вразумлял Виктор Алексеевич. — Откуда вдруг — люблю? Ты присмотришься к ней, погуляйте вместе, походите, поговорите. Она-то еще чего скажет.

Саша сник, потупил голову, притих на скрипучем казенном стуле. Юноша чувствовал себя невероятно уставшим, измученным. Ему сегодня пришлось совершить множество подвигов. Он сумел проникнуть в сказочный замок, который под влиянием чар некоего злого мага всем остальным представлялся рабочим общежитием; он правильно ответил на головоломные вопросы сфинкса-привратника в облиии любопытствующей старухи; он решился войти в заветную комнату, где томилась заколдованная принцесса; он вступил в напряженный словесный поединок с другими претендентами на руку красавицы. Теперь ему требовались силы и мужество для нового подвига — подвига стоического долготерпения. Саша понимал, что в шумящем под этими пыльными сводами рыцарском турнире он сможет завоевать даму сердца не красноречием, не силой логики, а силой любви, преданностью и скромной верностью. И пусть другие участники ристалища, обличая заблуждения соперников, отстаивают собственную правоту и право на благосклонность Марии, Саша выбрал другую тактику. Он смиренным, но постоянным присутствием убедит возлюбленную в своей надежности, необходимости, незаменимости. Саша был уверен, что так победит. Беспокоило только, что один из женихов, тот, щуплый, пониже всех ростом, похоже, разгадал его военную хитрость и также до времени притаился в засаде.

Рогов, в самом деле, решил дать другим наговориться вволю, а потом уже высказаться самому: так оно внушительнее получится, весомее, убедительнее. Пока же пусть болтуны-ветрогоны, постоянно перебивающие друг друга, тщетно ищут выход из призрачного лабиринта нескончаемого спора. Пусть они попытаются выкарабкаться из-под нагромождений своих абсурдных мыслей, пусть попробуют разгрести железобетонные обломки своих нелепых идей, пусть постараются поскорее откашляться от кирпичной пыли своих несуразных слов. У Рогова найдется более важное занятие, чем участие в легковесных прениях (благо, голоса спорщиков звучат все глуше и почти не отвлекают). Пока есть время и возможность, надо очередным натужным усилием мозга хоть на сантиметр подтащить себя к обретению смысла жизни. Пока есть время и возможность, надо сосредоточиться на корневых понятиях, которые требуют скорейшего досконального истолкования.

Конечно, отправные положения марксистско-ленинской философии в каком-либо толковании не нуждаются, они должны быть априори приняты за аксиому. Тут вопрос веры, а в вере Рогов оставался крепок. Пытливый пролетарий в какой-то момент не столько осознал, сколько догадался, что научный коммунизм лишь по традиции или для проформы называется научным, а на самом деле давно уже перерос рамки науки и перешел в разряд религиозных учений (без противоречащей логике идеи о высшем существе, разумеется), а религиозные учения, как известно, чужды доказательности. Рогов как раз и мечтал отключить закипавший от работы на холостых оборотах мозг, чтобы сполна насладиться гармоничной стройностью, доступной внятностью усвоенного мировоззрения, так четко объяснявшего законы вселенной, генезис и сущность человека, принципы функционирования общества. Однако треклятая практика воплощения теоретических построений классиков не давала снять умственное напряжение, порождала постоянные мучительные сомнения, доводящие до сумасшествия.

Рогов с яростью камикадзе отбивался от неотступных и неослабевающих ренегатских колебаний. Рогов чувял наличие революционного духа в толще народной массы, как натренированная легавая чует дичь под ворохом опавшей листвы, и готов был, как бультерьер, неотрывно вгрызться в свою добычу, чтобы даже после смерти не разжимать челюстей. Рогов, подобно опытному мастеровому, прикидывал реальную возможность раздуть мехами созидательной работы пока еще теплящийся в золе повседневного прозябания огонек принципиальности и обеспечить ровное горение вечного огня коммунизма. Дело вполне посильное, надо лишь все время поддерживать советское общество в состоянии повышенной идейной боеготовности, надо каждому изо дня в день упражняться в преданности идеалам.

Но как этого добиться? Человеческая природа ненадежна, в комфортных условиях развитого социализма граждане Страны Советов расслабились, потеряли бдительность; следовало бы их хорошенько встряхнуть. Если для тренировок на ринге потребен спарринг-партнер или боксерская груша, то для поддержания постоянного боевого тонуса народа очень пригодилось бы наличие свирепого противника или хотя бы присутствие в обыденном сознании представления о таком противнике. Только вот на данном историческом этапе неоткуда взять подходящих спарринг-партнеров! Разные там империалисты все реже проявляют свою агрессивность, поэтому широкими кругами населения в качестве супостатов уже не воспринимаются... Воинственные прежде китайцы притихли у себя за стеной... Даже ограниченный контингент советских войск в Афганистане — и тот был погружен в сугубо мирные заботы: судя по репортажам программы «Время», наши солдаты там занимались исключительно посадкой деревьев да ремонтом местных школ...

Предъявить бы народу врагов внутренних... Как назло ни одного не осталось! Всех победили еще наши деды и отцы, о чем неоднократно заявлялось с самых высоких трибун. С кем нам сегодня бороться? На каком поприще свершать великие деяния во имя торжества революции? На поприще борьбы с пьянством? На поприще повышения культуры быта? Имеющиеся недостатки, конечно, необходимо изживать, но как-то мелковата такая задача, не соответствует планетарным масштабам классовой борьбы. Проявлять рабочую доблесть в социалистическом соревновании? В росте производительности труда? Бессмысленно, поскольку наращивание производства при плановой экономике не бесконтрольно же осуществляется; наверняка как повышения, так и понижения процентов роста заранее просчитываются при наметке горизонтов пятилеток. Не могут не просчитываться.

Вот и получается (вопреки словам великого пролетарского писателя), что в повседневной советской жизни нет места подвигу. Возможности для героического маневра народу не оставили коммунистические генералы, сузили вселенский оператив-

ный простор до размеров парадной площадки. Что уж нынче мечтать о доблестных дерзаниях, когда любое мало-мальски самостоятельное перестроение на плацу кажется отцам-командирам неоправданным безрассудством!

А ведь люди неизбежно чахнут в отсутствие ярких, возвышающих страстей; череда однообразных житейских впечатлений затягивает тоскливой ряской все благородные стремления, заболачивает родничок духа. Душа, изнывающая под тяжестью волокуши будней, почти ослепшая в шорах обыденности, зашуганная окриками погонщиков, постепенно мертвеет. Тут уж беда, настоящая беда, поскольку человек так устроен, что нет для него ничего страшнее и отвратительнее, чем носить в себе (живом!) мертвое сердце. И вот он, бедолага, пускается на поиски подручного средства, дабы быстрее и безболезненнее усыпить душу. Кто-то перед ее ампутацией оглушивает себя пьянством, доводя организм до полной бесчувственности, когда внутренняя пустота уже не пугает, даже не ощущается; тот настойчиво и грубо выжигает нутро цинизмом, зато потом спокойно живет бодрым роботом; этот зажимает трепетную психею в тисках быта и давай корнать ее рашпилем жадности; другой в пыльном спортзале своего равнодушия день за днем качает тонюсенькие стенки сердечной мышцы, пока они не превратятся в непробиваемую мускульную броню.

Отчего же из нашей жизни постепенно, но неотвратно испаряется все героическое?.. Рогову по какой-то неуловимой аналогии вспоминались уроки начальной военной подготовки, резко вмешавшие в кислый запах школьной рутины непривычные брутально-романтические ноты порохового дыма и ружейной смазки. Эти нотки, почти неуловимые, однако до конца так и не выветривавшиеся, приятно щекотали ноздри, стоило переступить порог специально отведенного под НВП учебного кабинета. Один вид спецкласса, оборудованного двумя металлическими дверями и сигнализацией, вызывал почтительный интерес. Не удивительно, что на время новый предмет сделался любимым для старшекласников, увлеченно отработывавших сборку-разборку автомата Калашникова. С каким трепетом ждал юный Рогов того момента, когда возьмет в руки прославленное оружие, ощутит его весомую значимость, лихо передернет затвор! Да не один Рогов — такое же волнение переживал каждый ученик третьей ступени... Правда, лишь приступая к занятиям, пожалуй, только в первом полугодии девятого класса. А с приближением дня вручения аттестата зрелости операция по анатомированию автомата становилась все докучнее. Уже не казалось чудом то, что выпотрошенный вороненый остов и лежащая рядом груда отливающих сталью внутренностей под умелыми руками легко воссоединяются, возрождаясь к новой жизни. Перекормленный плодами древа познания десятиклассник уже с ленцой воспроизводит однообразные, надоевшие пассы, выполнявшиеся десятки раз, прочно вошедшие в двигательную память, и при этом ритуально бесполезные, поскольку выданный строгим военруком (подполковником в отставке!) самопал ни при каких условиях не сможет произвести выстрел, даже холостой. Многоопытному, искусственному подростку-выпускнику уже очевидна чисто декоративная роль доверенного ему на несколько секунд муляжа, игрушки со спиленным бойком и рассверленной газоотводной трубкой.

Подобная удручающая перемена произошла с Роговым и в зрелые годы. Его, беззаветного, горячего сторонника советской власти, советская же власть и обратила в диссидента! Так шампанское, под бой курантов вырывающееся из бутылки шипучей праздничной многообещающей струей, затем, простояв нетронутым в бокале всю новогоднюю ночь, безвозвратно утрачивает свою игристую легкость, превращается наутро в препротивнейшую кислятину, которую с раздражением выплескивают в раковину.

Оставалось только удивляться, до чего трудно жилось в СССР убежденному, идейному коммунисту. Ни в чем не видел он отрады; ни в чем не удавалось ему при-

близиться к торжеству своих воззрений. Еще было бы полбеды, если бы потерпело крах мировоззрение одного отдельно взятого Рогова, но ведь за его личной трагедией просматривалась грядущая глобальная катастрофа. Если уж созданное на благо всего народа государство не в силах сделать счастливой столь лояльную, столь непритязательную клеточку социального организма, каковой являлся Рогов, то об общем счастье и думать не приходится. Налицо абсолютная недееспособность созданного в СССР идейно-политического механизма. А ведь со стороны он выглядел таким совершенным, таким привлекательным, таким мощным, таким хитроумным!

Как ни жаль, но приходилось признать, что достоверность марксистской теории не подтверждена практикой; в конкретно-исторических условиях воплотить великие замыслы удалось лишь частично. Следовательно, учение изначально содержало неустранимые изъяны. Следовательно, обещанное коммунистическое завтра — миф... Рогов окончательно убедился: глубинный смысл истории непостижим для индивидуального сознания, глупо надеяться, что конечная цель прогресса познана кем-то из смертных. Ее, конечной цели, может, вовсе не существует. Жизнь идет вразнос, грозно лязгает на стыках неизвестно кем и куда проложенных рельсов, неосмотрительно пронесится мимо истерически пульсирующих красным семафоров морали и гуманизма. Провожая глазами мелькающие вагоны этого шального эшелона, который вне всяких расписаний, без каких-либо виз мчит безбилетное человечество во мрак неведомого, Рогов с трудом сдерживал горькие слезы разочарования.

А иногда, дойдя до крайней степени интеллектуального изнурения, он впадал прямо-таки в ярость, свойственную человеку, оказавшемуся на грани нервного срыва. Во время подобных приступов благоговение перед величием коммунистического идеала неожиданно для самого Рогова оборачивалось бешеной ненавистью к практикующим коммунистам. Правдоискатель-одиночка разражался внутренними монологами, сочившимися ядовитой патетикой, перенасыщенными риторическими фигурами.

«И что же вы наделали, коммуняки?! — с болезненной возбужденностью восклицал (про себя, пока что только про себя) Рогов во время своих припадков. — Взались, и не подняли. Понесли, да бросили. Не удержали, не удержали... Какую вещь испортили! Какую идею загубили! Величайшую из идей человечества. Да ведь после того, как вы своей ленью и узколобостью все испоганили, будет похерена любая попытка воплотить в жизнь эту идею. Теперь любой, кто хотя бы призадумается над тем, что такое равенство, что такое братство и альтруизм, обречен на насмешки и издевательство! Теперь никто в мире даже мысль не кинет в сторону создания справедливого общества. Никто и никогда! Никогда в истории человечества! Ты понимаешь, что это значит: никогда в истории человечества!»

Рогов и сам бы не объяснил, к кому конкретно адресуется в своих филиппиках, почему переходит в обращении с множественного числа на единственное, а только обязательно надо было вызвать к барьеру какое-нибудь ответственное лицо. С кем-то непременно следовало посчитаться за возникший в душе болезненный, беспрестанно саднящий надрыв; кто-то так или иначе должен был поплатиться за то, что недолговременное пребывание на свете уникальной человеческой личности оказалось навсегда лишено пленительного возвышающего смысла, превратилось вдруг в нелепую ненужность. До нервической дрожи хотелось кому-то персонально бросить в лицо страстное обвинение, исполненное досады и праведного негодования.

А сейчас, во время дурацкого спектакля, разыгрывавшегося в тесной комнате незнакомого общежития, Рогова словно слабым электрическим током било. Легкие конвульсии то и дело пробегали по телу, причем не только от отвращения к посторонним, неприятным людям, против воли втянувшим его в дрянную трагикомедию. Незадачливый статист готов был скоморошничать, фиглярствовать, валять ваньку,

ибо знал, во имя каких благородных идеалов выступает сегодня в унижительной роли паяца, просящего внимания к себе, словно милостыни. Но за самим фактом этой гнусной инсценировки виделись происки все того же неназванного пока злонамеренного субъекта, виновника крушения всех возвышенных надежд,— вот что заставляло беспокойно ерзать на скрипучей панцирной сетке чужой кровати! До каких же пор изворотливый враг будет уходить от ответа?! В том, что волна народного гнева рано или поздно настигнет кознодея, сомнений не было. Но когда же, наконец, это произойдет? И сможет ли он, Рогов, послужить орудием справедливого возмездия? На скулах страдальца микроскопическими цунами вспухали и опадали желваки, веки то хищно сужались, то распахивались чуть не на пол-лица, делая весь его облик по-детски трогательным.

В мимике Рогова так непосредственно и живо отражалась безостановочная смена мощных, глубоких эмоций, что Саша, внимательно присматривавшийся к затаившемуся до времени сопернику, просто залюбовался. Тщедушный человечек с мелкими невыразительными чертами вдруг увиделся художнику по-новому. Лицо его, словно колышущееся под ветром спелое поле, по которому в летний облачный день пробегают переливчатые тени туч, то слепило бликами грандиозной утопии, то омрачалось сомнением; на щеках временами проступал горячечный румянец митингового оратора, страстно зовущего внимающую ему толпу к несбыточному всеобщему счастью; в серых глазах слезно блестела непреложная вера в осуществимость захватившей его навязчивой идеи. Подсвеченная изнутри неукротимой одержимостью, вся кургузая фигура мечтателя представляла уже не карикатурной, а фантазмагорической.

Саше представилось, что перед ним не реальный человек, а персонаж какой-то картины... Скорее, даже не картины — пробного наброска, признанного неудачным и заброшенного в дальний угол мастерской. И вдруг этот начерно намалеванный мужичок соскользнул с этюдника, как соскальзывает порой незакрепленный лист бумаги, разметал по полу пустые жестянки из-под краски, расшвырял ненатянутые подрамники — багеты, зияющие креативной несостоятельностью, оконные переплеты, выкорчеванные с фасада заброшенного дома творчества,— и выбрался из захлапленного высокохудожественной рухлядью чулана на свет Божий, чтобы встретиться со своим создателем...

Саша еще не успел осознать зародившийся в душе импульс к труду живописца, а пальцы помимо воли уже шарили по столу в надежде наткнуться на карандаш: пойманный образ просился на полотно. Неплохая получилась бы работа — «Портрет современника». В глазах своей модели Саша показал бы и горькие слезы неудачника, и тревогу за будущее, и страх очередного предательства, и необъяснимую, ни на чем не основанную надежду на лучшее.

И сумасшедшинка была-таки, была в этих глазах! А как иначе назвать стремление непременно соединиться с впервые увиденной женщиной, стремление настолько эксцентричное, что повергло в столбняк самого же незваного жениха? Как по-другому определить состояние человека, внезапно обнаружившего у себя симптомы неподконтрольной разуму эмоциональности?.. Впрочем, стоит ли подбирать слова? Слова бесцветны и бесплотны; только краски могут живописать, как росток любви взламывает заплывающий асфальт души современника. Вот и нужно запечатлеть на картине чудесное преображение простолюдина-горожанина в рыцаря, преклоняющего колени перед непостижимым величием красоты. Надо попытаться передать через портрет мягущегося натурщика священный трепет, который внушила художнику (именно художнику!) их (одна на всех — так уж получилось) дама сердца, их горделиво-смиренная донна...

Тогда, может быть, задуманный портрет следовало бы назвать иначе: «Жених»... Или: «Молодой отец»?.. Интересно, можно ли отразить на холсте то, как удивительно

меняется лицо человека, пробуящего применить к себе слово «отец»? Постигание отцовства, вообще говоря, трудно приходит к молодым мужчинам. Попервоначально нелегко расчистить в голове да в сердце пространство, где будет вечно храниться новое, непривычное ощущение личной ответственности за неизвестно откуда появившегося в доме постоянно верещащего пупса, в чьей метрике зачем-то упомянут и ты. А уж литогенез родительских чувств, не связанных с близостью с конкретной женщиной, дается совсем мучительно. Сколько времени, сил потребуется, чтобы в твоей душе интерес к футболу и беззаботным дружеским посиделкам постепенно заместится стремлением постоянно и деятельно опекать своего детеныша! Впрочем, не только своего, а любого человеческого детеныша, ибо стремление это втерто в подкорку всем представителям сильного пола с незапамятных веков, когда ребенок был общим достоянием, залогом будущего процветания, порой даже выживания первобытного племени.

Как далеко, однако, способна улететь мысль художника — от портрета современника в непроглядную темь истории! Саша не переставал удивляться: серенькое лицо этого... как его?... Он, кажется, даже не представился. Впрочем, это и не важно! Так вот: серенькое лицо модели внезапно явилось взору живописца словно бы ценным полотном, которое вдумчивый реставратор просвечивает рентгеном, открывая все новые и новые напластования изображений. В облике натурщика ясно отразилось, например, и то, что личность формируется только на противоходе, только на преодолении.

Каких усилий стоит человеку поиск его собственного, единственного его пути! Какое мучительное счастье испытывает он, делая первый шаг! С каким неимоверным напряжением дается каждый шаг последующий! Как старательно скрывает он смятение и сомнения, пытаясь не спасовать перед уверенными в себе, раскрепощенными попутчиками, твердо шагающими по своим дорожкам, и насколько обострены все его чувства мнительностью, боязнью ступешаться на фоне других. И чего стоит ему, преодолев нерешительность, проверив и перепроверив себя, все-таки идти, все-таки торить свою тропу, на том простом основании, что это *его стезя*.

Впрочем, даже выбившись на свою дорогу, нельзя быть уверенным в том, что достойно пройдешь ее до конца. Вот так же, как этого несчастного человечка, потихоньку оттеснят тебя на обочину расторопные конкуренты и, не оглядываясь, попрут дальше к финишу. А ведь человек, может быть, самый достойный из всех претендентов на руку Марии! Однако ни явные достоинства, ни вопиющие недостатки участников гонки никакого влияния на исход состязания не имеют! Достоинейший слишком часто оказывается проигравшим, и такой порядок вещей давно обрел черты неизбежного принципа бытия. Принять же жизнь такой, как она есть, без надежды на торжество справедливости, тяжело. Пожалуй, даже невозможно. Уж Саше-то это известно лучше многих других.

Замысел нового портрета постепенно обретал черты этапной работы, вырастал до масштабов исповедального художественного высказывания целого поколения. Все новые и новые побег эмоции пробивались сквозь сухую корку невозделанной души, пышно колосились захватывающими идеями; казалось, что эти добрые знаки своими спелыми усиками ласкают сердце, и от их ласки наполнялось смыслом существование. А ведь Саша уже стал забывать, как весело ощущать за грудной клеткой биение крыльев фантазии, стал забывать, что главное дело его жизни — налюбовавшись той жар-птицей, распахивать клетку и выпускать на волю трепетную пленницу. Дело это и болезненное, и немного ззорное, и жаль расставаться с пернатым чудом, и страшновато отпускать его в необжитой, неудобный мир, но иначе поступить невозможно, иначе изменяешь себе самому. И сколь сладостно было сейчас почувствовать позабытое покалывание в пальцах, ищущих несуществующий карандаш на чужом столе,

сколь радостно было понять, что осталась в прошлом протезная чужеродность собственных рук, безвольно повисавших при предстоянии перед чистым холстом, сколь восхитительно было после долгих месяцев творческого бессилия вновь осознать себя художником.

Это заслонило собою даже чудный, манящий свет, исходивший от Марии, это оказалось важнее несбывшихся мечтаний о счастье в соединении с женщиной. Так вот для чего пришел он в неприятное, гадкое общежитие: не за женой, а в поисках вдохновения! Вот во имя чего претерпел он множество унижений! Вот зачем была ему ниспослана помрачившая рассудок страсть: чтобы, изжив ее, возродиться измененным в новых полотнах! Саша облегченно вздохнул, и с этим вздохом немедленно отлетели в небытие и катакомбообразный подвал кинотеатра, и до тошноты пропахшая одеколоном «художка», и мающийся у ее дверей преданный собутыльниково-квазимодо. А самое главное: испарилась обморочная любовь его. Отпустила, ушла.

Саша, словно вырвавшийся из водоворота пловец, не мог надыхаться созидательной свободой, которая неожиданно вернулась к нему таинственным промельком, но не в лике возлюбленной, а в физиономии едва знакомого человека, почему-то ставшего самым дорогим и понятным в мире существом... Портретисту показалось вдруг, что чужое, аляповато слепленное лицо преобразилось, приобретя его собственные черты... Да почему же показалось? Так и было, ведь любой портрет — всегда автопортрет. Теперь сумеет бы все до мельчайшего штриха запечатлеть на картине! Рассказать бы достоверно, чем живет каждая неприкаянная душа, отчего так невыносимо ей на свете. Не только же от отсутствия любви. Нет, не только от этого...

«Ты не убивайся так-то уж, друг! — мысленно утешал Саша своего натурщика. — Да, мир спроектирован суровым, индифферентным к конечному результату и, пожалуй, чуть небрежным зодчим. Да, в нашей горестной юдоли если и обретешь каким-либо случаем чувство глубокого удовлетворения, то всего на миг, не дольше. Никогда не было такого, чтобы отдельная человеческая единица, не говоря про целый народ, в конкретных исторических условиях сколь-нибудь долговременно наслаждалась бы гармонией и радостью бытия. И мы с тобой, видя, что творится вокруг, конечно, не считаем себя счастливыми. Но, может быть, через четверть века наше время назовут наисчастливейшим в истории страны...

Да, сегодня мы с тобой жестоко страдаем от очевидных пороков системы, мы удручены и раздражены, мы гневно отвергаем привычный уклад жизни. Но завтра-послезавтра забудут о бытовых неурядицах, о вопиющей глупости управителей, о разедающем общество ханжестве, а сохраняют в памяти лишь задекларированную нашим строем аксиологию. А ведь она сконцентрирована на ценностях незыблемых, выверенных всем ходом развития человечества! И объявят потомки наше с тобой время великим, потому что суть этого времени в обращении к лучшему в человеке».

«В обращении к лучшему? — Рогов перехватил Сашин взгляд, на мгновение явив вместо романтично-сосредоточенного профиля сердитый фас, и художнику показалось, что натурщик, возмущенный неприлично пристальным созерцанием, ответной репликой попытался дополнить замысел картины. — В обращении... Тогда уж в призыве. В мобилизации. В назойливом подталкивании к лучшему — вот в чем суть нашего времени. Но навязанные взгляды не укореняются в душе, не становятся внутренним убеждением, а потому легко уносятся прочь, не задерживаясь, катятся за горизонт таким идейным перекаати-полем при первом порыве интеллектуального сквознячка».

Рогов отвернулся, но Саша уже поймал его движение, поймал и увидел новый ракурс портрета. Неожиданный отклик модели обрадовал живописца так, словно бы он прочел мысли гипсового конуса или проник в душу мраморного бюста. Сердце наполнилось нежностью к чужому, вроде бы, мужчине: «Ах ты, милый мой совре-

менник! Знаю, знаю я эти твои раздумья. Ты еще дороже мне стал своим возражением! Теперь-то я понял, как тебя писать! Появились и силы, и непреклонная решимость перенести на холст родные, необыкновенно близкие черты твоего лица, усталого лица часового великих истин. Растерянного лица рядового распушенной армии, лица человека на краю пропасти, пытающегося совладать с паникой; человека, боящегося узнать, что ждет его впереди. А ждут тебя сомнения, унижения, боль и страх. Никто уже больше не назовет тебя мерой всех вещей. Напротив, сам ты станешь вещью, не очень ценной вещью, которую, однако, жаль все-таки выбросить. Сколько же тебе придется перестрадать, чтобы доказать всему миру, что ты сам способен решать свою судьбу!..

Да, это будет великий портрет. Портрет брошенного всеми человека, навсегда оставляющего дом и направляющегося в трудный и опасный путь к неразличимой пока цели... Впрочем, равным образом это портрет человека, прошлое которого было смутно и тягостно.

Конечно, предшественники наши, утверждая непреходящие смыслы эпохи, действовали грубо, жестоко, прямолинейно. Конечно! Но ведь предшественники прорастают из реальной истории и поэтому всегда таковы, каковы есть. Конечно, методы современников немногим лучше тех, что использовали в прошедшем, и дискредитируют утверждаемые ценности. Конечно! Однако других современников нам тоже неоткуда взять. А потом: они хотя бы попробовали! Попробовали приспособить мечту для повседневной жизни. А это немало. Это дорогого стоит.

Я согласен с тобой: чтобы воспитать генерацию убежденных приверженцев некогда выстраданной идеи, следовало действовать гораздо более артистично. Но ведь хранителям учения всегда кажется, что следующие за ними поколения обязаны воспламеняться вменяемыми догматами из одной лишь благодарности за свершенное ранее... На самом же деле для Клио нет аксиом; все теоремы да теоремы, и доказывать их нужно ежедневно, убедительно, вдохновенно, так, чтобы заинтересовывать молодежь, которая зажигается живыми делами, стремится подражать стильным, ярким личностям. Образно говоря, ленинская кепка здесь уже не годится, а вот берет Че Гевары подошел бы. Как бы не так! Хранители учения у нас как огня боятся всего своеобразного, нестандартного; тип современного революционного романтика, раскрепощенного и жертвенно-мужественного, бездарно потерян для пропаганды... А зачем наши коммунистические тузы затоптали чехословаков, попытавшихся три десятка лет назад сказать новое самобытное слово? Для чего вот совсем же недавно выкрутили руки полякам? Почему делают вид, что в упор не видят югославского пути? Какого черта нас призывают к одному, а в жизни требуют совсем другого, подчас противоположного?!»

Если бы Саша говорил вслух, то на этих словах непременно возвысил бы голос до звенящих патетикой нот. И Рогов, давно уже ответивший на внимательный взгляд художника не менее внимательным взглядом, вдруг явственно услышал не прозвучавший в реальности Сашин выкрик, вздрогнул и снова отвел глаза.

Еще только подходя к незнакомому общежитию, Рогов уже испытывал смутное беспокойство человека, не до конца осознающего последствия своего поступка. Переступив порог подозрительной комнаты, он с тоской почувал, что вторгся в некую измененную реальность, явно враждебную ему, где весь предыдущий опыт окажется бесполезным, где предстоит решительно и необратимо измениться. Потом началась совсем уж дичь: непостижимый пространственно-временной сдвиг вызвал к жизни людей-фантомов, обживавших иррациональный мирок с будничной обстоятельностью, с деловитой самоуверенностью. Теперь же, неожиданно для себя обретя способность одновременно слышать как речи собеседников, так и их мысли, Рогов пришел в ужас, ощутив, что проваливается под лед обыденности и медленно погружает-

ся в студеную бездну неведомого.

Он слышал то, что произносили Чернышев, Шамсутдинов и Иммануил, обращая друг к другу, к Марии или к Виктору Алексеевичу, и всякое слово было фонетически узнаваемо, доступно по смыслу. Но в это же самое время (помимо желания!) Рогов, как будто сквозь вату в ушах, улавливал, воспринимал и то, что крылось за фразами присутствовавших, то, что адресовалось почему-то конкретно к нему, к Рогову.

Выспреннее остальных краснобайствовал чудик в дурацкой белой накидке, сорвавший словесами, словно шелухой подсолнечника. Нескладный верзила ухитрялся сразу и спорить с Чернышевым о доходности набиравшего обороты мистического предприятия, и пытливо поглядывать на Виктора Алексеевича, проверяя, поддерживает ли его будущий тесть, и время от времени разухабисто подмигивать Марии.

При этом, несмотря на комическую суетливость, он ревниво следил за сутью безмолвного разговора, который вели между собой Саша и Рогов. Иммануилу не терпелось свой грошик тоже бросить в пошедшую по кругу шапку вековой славянской беседы:

«Эк вас занесло! В глобальные проблемы! Перестаньте! Не про нас это! Куда там русским с их ленью-матушкой, с их необязательностью, с их дрябленьким всепрощением, с их расслабляющей добротой проводить столь масштабный, требующий полной концентрации и полного самоконтроля эксперимент! Вот если бы немцы взялись, у них вышло бы... Однако отчего-то не взялись немцы. И англичане не взялись, и французы... А ведь марксизм-то этот... Это было их дело, европейское, на них скроенное, на них сшитое. За социалистической идеей явно виден и Ренессанс, по-детски обомлевший от обнаруженных им безграничных возможностей венца творения, и галантное осьмнадцатое столетие, изверившееся в Боге, но упорно не замечавшее одномерности восхваляемого на все лады разума, и век девятнадцатый, давший европейцу возможность впервые в истории наесться досыта, до обжорства, так, что потребовалось ослабить пояс и даже расстегнуть пуговичку на жилете. Только вот о чем думает насытившийся человек? О том, как же вокруг него много голодающих? Нет! Он о том думает, что бы еще послаще положить в рот на десерт. И ничего страшного! Это нормально, естественно для смертных. Из естества надо исходить во всем, из естества! А не гоняться за коммунистическими призраками! Кстати, в Европе это давно поняли, потому Маркса своего нам спихнули, чтобы мы тут мучились, над собой ставили всякие опыты. Ну, давайте, давайте! Экспериментируйте. Только без меня!»

Приливы и отливы голосов (как различных ухом, так и воспринимаемых лишь телепатически) качали Рогова на своих гребнях, баюкали, а затем зазвучали диковинным адажио, свелись в вычурную мелодию, витую, литую, похожую на одинокую чугунную колонну, установленную кем-то неизвестно где и непонятно зачем. Рогов вдруг оказался вознесенным на самую капитель этой колонны, да так высоко, что трудно стало дышать. Преодолевая приступы головокружения, он подполз к краю плоской площадки и взглянул вниз. Едва различимый стилобат циклопического столпа был установлен все в той же общежитской комнатенке, а вокруг массивного цоколя копошились суетливые человечки. Глядя на их оживленную жестикуляцию, можно было догадаться, что они по-прежнему отчаянно препираются друг с другом, но сюда, на металлически равнодушную высоту, не долетало ни звука.

Рогов пожелал выяснить, что говорит... ну, хотя бы, вот тот, коренастый... лысоватый такой... По роговскому хотению пневматическая почта тут же доставила на верхотуру серебристую капсулу, разжав которую, Рогов обнаружил протокольную запись выступления указанного субъекта.

Протокол гласил: «Слово предоставляется тов. Шамсутдинову Р. Х. Выступаю-

ций обратил внимание присутствующих на то, что важна не коммунистическая идеология сама по себе, а установленный под ее воздействием строгий порядок во всех сферах жизни, каковой порядок длительное время предопределял наше поступательное движение вперед. Достигнутая ценой немалых усилий стабильность государственного устройства (что в особенности важно для такого государства, как наше, занимающее довольно обширную площадь и населенное неоднородным по этническому составу населением), имевшаяся в наличии до самых недавних пор, представляет собой базис дальнейшего развития. В последующем означенный базис необходимо неукоснительно сохранять, в то время как идеологическая надстройка, вызывающая у населения определенные нарекания, могла бы быть постепенно модифицирована как не имеющая первостепенного значения. Возникающая при этом опасность деструктивных перекосов будет сведена к минимуму отлаженной работой госорганов, что необходимо обеспечить дополнительными директивными мерами и мероприятиями по материально-финансовому обеспечению госслужащих.

Однако в настоящее время руководство страны занимает прямо противоположную позицию, объявив т.н. войну бюрократии. В результате столь недалевидной политики не только ставится под угрозу безопасность самого руководства, но и подрываются устои государства, поскольку лишь опытные специалисты-администраторы способны снизить возможность негативных последствий при осуществлении реформ. Следовательно, необходимо оперативно свернуть кампанию критики номенклатуры. Напротив, следует настойчиво разъяснять массам важность той функции, которую осуществляют ответработники, нейтрализуя подчас возникающее у рядовых граждан чувство беспокойства по поводу определения дальнейшего курса развития страны и тем самым позволяя основной массе населения сосредоточиться на текущих делах, высвобождая общественную энергию для решения экономических и гуманитарных задач. Именно должностные лица, службисты являются становым хребтом государства, именно им следует перепоручить проведение преобразований».

Прочитав это, Рогов поморщился, резко выбросил правую руку в пространство, прямо из воздуха, не глядя, достал солидную перьевую ручку, которой размашисто начертил на документе резолюцию: «Че-пу-ха!» Рядом поставил свою витиеватую подпись и, уложив бумагу в пулеобразный футляр, отправил его обратно. Роговские каракули понеслись по многочисленным трубкам пневмопочты, на каждом новом колене обрастая дополнительными смыслами, трансформируясь в полноценное, обоснованное суждение, так что внизу трехсложное словцо явилось читателям язвительным памфлетом:

«Вся власть ответственным работникам? Ха-ха! Да перед кем же они отвечают?! На поверку ни перед кем. Какова мера их ответственности?! Нулевая! Если плохо выполнено конкретное задание, вышестоящий чиновник может взыскать с нижестоящего. Но кто и когда был наказан, если дело касалось функционирования всего государственного аппарата? В случае системных сбоев или коллапса канцелярские крысы разбегаются, подставив под удар высшее руководство. Кто-нибудь из наиболее одиозных сановников порою возлагается на алтарь общественного недовольства, в целом же бюрократический класс не только не несет тягот вместе со всеми, но, напротив, постоянно пухнет, несмотря на любые народные бедствия. На место отданного на заклятие стояначальника немедленно является толпа новых претендентов. И все они уже насобачились выдавать свою сервильность за умение вести дела! Все пускают сладострастную слюну в ожидании спецпайка, все нетерпеливо роют землю копытами, стремясь поскорее ринуться в отделы спецобслуживания! Все благословляют ту минуту, когда их полупрозрачные тельца нежизнеспособных моллюсков оказались надежно укрыты непроницаемым панцирем исключительных кастовых привилегий: из-под этого панциря можно безбоязненно выпускать длинные жадные

щупальца, шаря вокруг себя в поисках поживы... И вот среди нас находятся те, кто предлагает чуть ли не законодательно закрепить за чернильными душами некий особый статус. За какие же такие великие заслуги?!»